Георгий Чулков

Федор Сологуб

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Сологуб был важен, беседу вел внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. О житейском он почти никогда не говорил. Я никогда от него не слышал ни одного слова об его училище, об учениках, об его службе. Кажется, он был превосходный педагог. Учителем он был, несомненно, прекрасным. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил…»

- Георгий Иванович Чулков
  - I
  - II
  - III
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27

- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41

Георгий Иванович Чулков
Федор Сологуб

I

Я встретился с Федором Кузьмичом Тетерниковым в первый раз весною 1904 года в Петербурге на журфиксе у Мережковских. Федору Кузьмичу тогда было лет сорок, а мне еще не было и двадцати пяти. Он был уже зрелый, давно уже определившийся поэт, хотя публика знала его лишь по глупым рецензиям журналистов и не менее глупым пародиям Буренина[1]. А я был начинающий писатель, автор книжки «Кремнистый путь» и только что появившейся тогда в «Весах» статьи «Светлеют дали»[2].

Сологуб, услышав мою фамилию и пожимая мне руку, сказал, лукаво щуря глаза:

– А по-моему, они темнеют…

Я конечно догадался, что поэт, намекая на заглавие моей статьи, иронизирует добродушно по поводу этой несколько восторженной литературной декларации. По неопытности я недоумевал, как мне надо отнестись к иронии моего почтенного собеседника. Но Сологуб сам помог мне выйти из затруднительного положения, переведя разговор на мои стихи.

У Сологуба тогда была борода, которую он впоследствии сбрил. Портрет Кустодиева[3] очень удачен в отношении сходства. Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определялся не десятилетиями, а по крайней мере тысячелетиями – такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах.

В одно из ближайших воскресений я получил от Сологуба приглашение его посетить. Он жил на Восьмой линии Васильевского острова, в доме Андреевского городского училища, где он служил в качестве инспектора.

Сологуб тогда еще не был женат, и в доме хозяйничала его сестра, Ольга Кузьминишна[4]. Это была приветливая, но несколько застенчивая и очень скромная пожилая девушка. Лицом она была похожа на брата. Ходила она по комнатам бесшумно, как ходят монахини. И во всем облике ее было что-то монашеское. И в доме была чистота и порядок, как в монастырских кельях.

Брат и сестра были чрезвычайно гостеприимны. Ужины они устраивали вкусные, угощая домашними соленьями и всякими яствами, и казалось, что ты сидишь не в Петербурге, а где-нибудь в далекой провинции, где люди хлебосольны и мастера готовить всякие настойки и закуски.

В салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские темы; произносились монологи и диалоги, иногда

речи походили на проповедь… У Сологуба таких «платоновских» бесед[5] не устраивалось, И даже Мережковские, посещая поэта, избегали у него поднимать споры на ответственные темы.

У Мережковских говорили громко, у Сологуба – вполголоса; у Мережковских спорили о церкви взволнованно и даже запальчиво, у Сологуба – рассуждали о стихах с бесстрастием мастеров и знатоков поэтического ремесла. В кабинете хозяина, где стояла темная, несколько холодная кожаная мебель, сидели чинно поэты, читали покорно по желанию хозяина своя стихи и послушно выслушивали суждения мэтра, точные и строгие, почти всегда, впрочем, благожелательные, но иногда острые и беспощадные, если стихотворец рискнул выступить со стихами легкомысленными и несовершенными. Это был ареопаг[6] петербургских поэтов.

Сологуб был важен, беседу вел внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. О житейском он почти никогда не говорил. Я никогда от него не слышал ни одного слова об его училище, об учениках, об его службе. Кажется, он был превосходный педагог. Учителем он был, несомненно, прекрасным. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил. В этом отношении он был похож на Эдгара По. Даже таинственные и загадочные темы он облекал в стройную систему силлогизмов. Он в совершенстве владел техникой спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою.

Некоторых он пугал насмешливостью, иных он отталкивал своею обидчивою мнительностью, другим он казался холодным и злым. Но мне почему-то он сразу внушил к себе доверие, и я разглядел за холодною маскою то иронического, то мнительного человека его настоящее лицо – лицо печального и доброго поэта.

Но обидчив и мнителен он был в самом деле болезненно. Несколько раз даже у меня с ним были недоразумения по разным незначительным поводам. Правда, эти недоразумения кончались благополучно и очень скоро, потому что Сологуб всегда чувствовал, что я его ценю и люблю, и охотно мирился.

Однажды мне пришлось даже получить от него довольно неприятное письмо, написанное им под впечатленьем только что напечатанной тогда повести Кузмина[7] «Картонный домик». К несчастию, эта повесть напечатана была в альманахе «Белые ночи», в коем я принимал ближайшее участие и где я напечатал также стихи самого Сологуба. А в повести Кузмина – надо признаться – не очень скромно описан был интимный вечер в

театре В.Ф. Комиссаржевской, где Сологуб читал свою пьесу[8]. И сам поэт изображен был Кузминым насмешливо, как некий «седой человек, медлительным старческим голосом, как архимандрит в великий четверг»[9], возглашавший реплики своей пьесы[10]. Оскорбительного, впрочем, ничего не было. Но Сологуб обиделся. Мне это было особенно тяжело, потому что вся эта история совпала с мучительною предсмертною болезнью сестры поэта. Федор Кузьмич жил в это время в Финляндии, в Райволе. Письмо датировано 25 июня 1907 г. А текст письма такой:

«Дорогой Георгий Иванович, благодарю за Белые Ночи. Как жаль, что Вы меня не застали в прошлый понедельник, – я так рад был бы побеседовать с Вами. У меня очень неблагополучно: сестра в опасном положении; каждый день хуже и хуже. По поводу альманаха: очень жаль, что Кузмин так на меня сердится: я, право, не виноват в этих делах и даже не подозревал, что моя трагедия может в чем-нибудь помешать его пьесам. Я и писал ее вовсе не для сцены и никому ее не предлагал, Вс. Эм. Мейерхольд сам ее у меня спросил.

Не правда ли, как это неумно свирепеть на меня за то, что я, во-первых, написал драму, во-вторых, читал ее долго, мешая Кузмину исполнять его «Куранты»[11].

И потом я думаю, что в этой самой книге моих стихов помещать не следовало: это меня, без моего ведома, ставит в такое положение, в котором я не хочу стоять. Получается такая картина: не подозревая, что на моем лице красуется плевок, я безмятежно выхожу читать стихи перед гогочущей аудиторией.

Так-то, милый поэт, грустно жить на свете. Привет Надежде Григорьевне[12].

Сердечно преданный Вам Федор Тетерников».

Это письмо, продиктованное болезненною мнительностью, вовсе не отвечало тому, что было на самом деле. Никаких коварных целей М.А. Кузмин не преследовал, и, насколько я припоминаю, все это скоро уладилось.

Впрочем, Федору Кузьмичу было не до того. Все литературные сплетни и обиды отошли на второй план.

«Милый Георгий Иванович, – писал он 28 июня 1907 года. – У меня жестокое горе: сестра умерла. Шлю Вам и Надежде Григорьевне от нее последний ее привет и пожелания: живите долго и будьте счастливы.

Искренно любящий Вас Федор Тетерников».

Вскоре я получил от Сологуба еще одно письмо, датированное 9 июля того же 1907 года из Райволы.

«Дорогой Георгий Иванович! – писал он. – Ваше и Надежды Григорьевны сочувствие очень меня тронуло. Умирать иногда бывает мучительно больно, и тяжело смотреть, как живое лицо день за днем мертвеет, как иссыхавшие от смертельной жажды губы истаивают, и слышать, как умирающий, коснеющий язык и запекшиеся уста говорят сознательные, живые, простые слова уже после того, как за несколько дней сказано просто и покорно: – я умираю. – Где я думаю провести июль месяц? – спрашивали Вы. Хорошо, если бы я знал. Беда в том, что мелкий бес[13] стережет черные дни и приходит пакостить. Издевается и дразнит идиотскими совпадениями. Как раз в те дни, когда сестра уже перестала вставать с постели, за 2 недели до смерти, меня внезапно уведомили, что на службе меня не оставят. Как раз в день ее похорон мой преемник требовал, чтобы я сдавал ему поскорее училище. Теперь требует, чтобы я поскорее очищал ему квартиру. И вот я мыкаюсь то в Петербург, то в Райволу, кончаю казенные дела, сдаю училище, ищу квартиру. Все собирался на этой неделе заехать к Вам навестить, благо недалеко, и мне так отрадно было бы поговорить с Вами, да так и не мог собраться. Но все-таки на днях непременно побываю. Привет Надежде Григорьевне.

Сердечно преданный Вам Федор Тетерников».

В это время, после смерти Ольги Кузьминишны и до женитьбы Федора Кузьмича на А.Н. Чеботаревской[14], моя дружба с Сологубом как-то укрепилась и явственно для нас обоих обозначилась. Вот еще одно его письмо ко мне, помеченное 30 июля 1907 года:

«Дорогой Георгий Иванович! Прошлую субботу, – 28, – Я очень хотел проехать к Вам на Черную Речку, но утром долго задержали в Петербурге разные мелочи с квартирой, и уже потом было поздно, особенно принимая в рассуждение, что Вы в этот день отправлялись на Вечер нового искусства. Студент, который был у меня с Вашим письмом звать меня читать, очень милый. Я приятно с ним побеседовал и не мог ему отказать. Он доказал мне по правилам арифметики (физики он еще не знает), что мне надо читать. Я и хотел приехать. И все думал, что же я буду читать. И все выходили стихи про смерть – прочие стихи я позабыл, и в субботу стало у меня такое настроение, что я буду совсем неуместен на этом вечере, среди таких молодых и очень приемлющих жизнь авторов. Это, конечно, вздор. и публике все равно, что слушать и на кого глядеть. Но все-таки я не смог приехать. Теперь я в Петербурге. Поселился на Петербургской стороне. Широкая, 19, кв. 2. Это на углу Малого просп.

Соберитесь ко мне. Я всегда бываю рад, когда Вы ко мне приходите. Я Вам, если хотите, прочту мою новую трагедию, – только что кончил. В 3 действиях. «Победа Смерти».

Долго ли Вы еще проживете у Кюнаряйнена? Там, должно быть, хорошо. Привет Надежде Григорьевне. И большая благодарность Вам обоим за милое сочувствие. Желаю Вам счастья и радости.

Сердечно любящий Вас Федор Тетерников».

II

На мою долю выпала немалая честь напечатать роман Сологуба «Мелкий бес». Еще будучи сотрудником «Нового пути» в 1904 году, я неоднократно слышал от Мережковских упоминания об этом романе. Редакторы журналов не решались его печатать, считая роман слишком рискованным и странным. Боялись либеральной цензуры. Познакомившись с Сологубом, я попросил его дать мне прочесть его роман. Он охотно согласился и рассказал при этом, как он послал свой роман решительно во все редакции, и ни один журнал не соглашался его напечатать.

К концу 1904 года, когда я расстался с Мережковскими и вместо «Нового пути» стал выходить журнал «Вопросы жизни», я предложил новой редакции взять у Сологуба его роман. Н.А. Бердяева мне удалось склонить на согласие без труда, но со стороны С.Н. Булгакова и некоторых других я встретил упорное сопротивление. Федору Кузьмину, ныне покойному, так, вероятно, и осталось неизвестным, какую борьбу я выдержал внутри редакции, добиваясь опубликования романа[15], ставшего теперь классическим. После журнала роман был издан «Шиповником». И мне долго пришлось убеждать издателей в необходимости выпустить роман отдельной книгой. Впоследствии они не пожалели об этом; роман переиздавался многократно, и только благодаря этому замечательному роману имя Сологуба стало известно всем грамотным русским людям.

Литературный путь Сологуба был нелегкий. Поэт не мог не сознавать, что его лирика совершенна и благоуханна, что его роман значителен и глубок, и, сознавая это, встречать или холодное равнодушие к своим трудам, или даже насмешливую враждебность – все это не так легко, и пушкинский афоризм «ты сам свой высший суд» не всегда утешает, когда «суд глупца»[16] является верховным судом по отношению к тому, что ты делаешь con amore[17].

В ящиках письменного стола у Сологуба лежали груды четко переписанных его стихов, нигде еще не напечатанных. Этот клад, вероятно, и до сих пор лежит. Полное собрание сочинений поэта, предпринятое «Сирином», не было доведено до конца[18], и посмертных произведений Сологуба – я думаю – найдется немало.

Мои рассказы и повести Сологуб, кажется, не очень ценил, зато к моим лирическим опытам относился весьма благосклонно. Впрочем, такие сообщения надо делать осторожно, с оговорками. Капризны наши оценки. Сегодня мы хвалим то, что завтра под тем или другим впечатлением браним. Я помню, однако, как одно

из моих первых выступлений у него на воскресном вечере, когда я читал мою «Гагару»[19], встречено им было с сочувствием, для меня очень лестным. Он очень ценил мои стихи о тайге и, когда я охладел к этой теме, написал мне экспромт, датированный 28 декабря 1913 г.[20]:

Дарованный тебе, Георгий,
Ночной таинственной тайгой
Цветок для прелести другой
Не позабыл ли ты, Георгий?
Но в холоде эфирных оргий
С тобою спутник твой благой:
Цветок ночей, тебе, Георгий,
Ночной дарованный тайгой.

Так же он относился и впоследствии к моей лирике, простив мне забвение тайги. И, признаюсь, я, уже многоопытный писатель, был по-настоящему растроган, когда он мне сказал в Петербурге в 1922 году, что, получив мою новую книгу[21], сидел над нею всю ночь, перечитывая по нескольку раз понравившиеся ему стихи. Зато мои философские выступления его вовсе не удовлетворяли. По поводу нашумевшей в свое время моей книжки «О мистическом анархизме» он напечатал в «Перевале» насмешливую статью, которая, если не ошибаюсь, называлась «О недописанной книге»[22]. Книжка «О мистическом анархизме» написана была мною в сотрудничестве с Вяч. Ивановым, которому принадлежит в ней обстоятельная вступительная статья. Среди писем Сологуба ко мне есть помеченное 15 июля 1906 года, которое посвящено суровой критике этой моей книжки. Письмо Сологуба так любопытно, что я его приведу здесь всё, без пропусков.

«Дорогой Георгий Иванович! – писал Сологуб. – Вы доставили мне очень большую радость и удовольствие присылкой Вашей новой книги. Я прочел ее с весьма большим вниманием, и Вы позвольте мне сообщить Вам некоторые мои недоумения по поводу ее содержания, – недоумения, причиной которых является, м.б., только мое непонимание и мое незнание. Как прилежный читатель, я начал со вступительной статьи. На мой взгляд, Ваша статья «На путях свободы» более шла бы в качестве вступительной. В изложении Вячеслава Ивановича для меня много непонятного. Напр., на стр. 11: мистическая воля есть свобода, осознает себя как в е р а и делается р а з у м о м, впрочем, может предстоять как безумие. По мне это очень много. Но более всего меня смущает стр. 18. Здесь доказано больше, чем

надо, а это опасно. Да и к чему же было доказывать тождество мистики и анархии. Два термина – два понятия, если объем понятий совпадает, то совпадут и содержания. Но В. И. только признал: «Мистики вовсе не были анархистами, ни особенно анархисты мистиками», т. е. объемы понятий не совпали. Да и Вы сами в книге Мережковского видите пример сочетания мистики с принципом самодержавия. Как же доказать недоказуемое? Мне кажется, что для этого допущено несколько ложных приемов, да и нельзя иначе: рассуждая точно, не получишь сомнительного вывода. Первое: выделяется «истинный» анархизм и «истинный» мистицизм (как есть «истинно» русские люди)[23]. В процессе доказательства это словоупотребление неправильно: опираемся на то, что еще надо доказать, т. е. утверждаем, что «истинно» только то, что согласно с нашим выводом. Второе: неточно обобщается посредствующее понятие «свобода». Последняя внутренняя свобода – мистика; свобода в смысле безусловно определяющейся волевой монады[24] – анархия; след., анархия есть мистика. По-моему, вывод неверен. В одном месте Вашей книги Вы берете геометрический пример, возьму и я. Если прямая проходит через начало прямоугольных координат, то ее уравнение ax = Ъby (2x = Ъ3y). Это уравнение справедливо для всякой точки на прямой, даже когда x и y стремятся к нулю или бесконечности. Но если приравняем x к нулю, то и y = 0; если x = Ъ∞, то и y = Ъ∞, уравнение будет $2 \cdot 0 = Ъ3 \cdot 0$ или $2 \cdot \infty = 3 \cdot \infty$. Применяя способ Вяч. Ив. (свобода мистическая = свобода анарх.), мы сообразим, что 0 = 0, и ∞ = ∞, сокращаем эти равные величины и, получив равенства 2 = Ъ3, торжествуем победу над школьною арифметикой. Мы только забыли, что к 0 и к ∞ величины стремятся различно, и потому нельзя оперировать с бесконечно большими и бесконечно малыми, как с конечными. Так же нельзя оперировать и с понятием свободы. Свобода – трагическая маска мировой Иронии: в плане возможного ее нет (0), в плане должного она безусловно необходима (Ъ∞). Устремления к свободе многообразны: для мистика свобода есть чудо, для анархиста она есть социальный аморфизм.

В этом же рассуждении я бы возразил против употребления термина «монада», но я не буду надоедать Вам этим. Мне бы хотелось сказать еще два слова о Ваших статьях. Они мне показались сжатыми в том, что хотелось бы видеть более распространенно-изложенным. О Достоевском, о Вл. Соловьеве, об Ибсене – это очень интересно – но хотелось бы видеть более подробное изложение Вашего взгляда. М.б., это следствие моего плохого понимания, но я продолжаю недоумевать относительно того, что понимается под обозначениями «мистический

анархизм». Вы начали с определения, но не дали самого интересного и нужного: что такое власть. Или понятие власть не надо определять? Но что значит власть норм над человеком? Уничтожить власть норм значит ли это уничтожить и самые нормы? Если да, то есть ли различие между властью и нормами? и не создадутся ли новые? Если нет, то как же понять существование норм, отрезанных от того, чему они являются нормами? В начале первой статьи перечислены 4 разряда норм, – исчерпывающее ли это перечисление? И что значит «обязательные» нормы? Если я отвергну, в области моральной, безусловное повеление долга и правилом моего поведения поставлю *я хочу* – это не будет нормою? И не возьмет надо мною власти? Если бы я был «волевою монадою», свобода была бы моею природою, но ведь я – сложный, и раздираюсь многими желаниями, – как же мне поступить? Какие бы пути я ни выбрал, как я высвобожу мое поведение из оков причинности? Дождусь чуда? Но если чудо – от меня, я его уже совершил, создав мир и его нормы с их властью; если же чудо не от меня, то оно умерщвляет мою свободу. Когда писанный закон говорят мне: «говей»[25], я знаю, что такое власть и в чем борьба с нею, и свобода от нее. Но когда термины *власть, свобода* и другие употреблены в общем смысле, то я думаю, что такое наложение слов изначала конкретных на очень обобщенное содержание требует точного анализа. Доколе анархизм останется в своей области (государства), дотоле вопрос о власти ясен: *(неразб.)* определенный ряд отношений, но что значит безвластие или власть в сфере музыки? Те анархисты, которые были (неистинные, по терминологии В. И.), Вам не нравятся; для них у Вас такие словечки, как «наивно», «неправдоподобно», «странно», «без внутреннего содержания», «скучный, бессмысленный», «безнадежность холодного склепа». Ваше политическое устремление – социализм; кто от социализма убегает, тот, по-Вашему, раб и мещанин. Почему же в таком случае мистический анархизм? Если дело идет о последнем освобождении личности, то это скорее «мистический либерализм». Тем более, что Вы определенно утверждаете, что «утверждение мистической (?) личности возможно лишь в общественности». А разве *общественность, соборность, община* – это не власти? Новая общественность утверждается на влюбленности, – но ведь и Нарцисс[26] над зеркалом реки влюблен, и поэт, в своих статьях цитирующий свои стихи, влюблен.

Я написал больше, чем позволительно для письма, и гораздо хуже и меньше, чем бы мне хотелось. По поводу многих мест Вашей книги мне хотелось бы сказать очень многое – но не

решаюсь надоедать более.

Я был очень рад, когда прочел, что Вашу книгу стихов Вы назвали *Из плена*[27]. В Петербурге ли Вы? Что у Вас делается? Мы тут сидим и боимся, как бы забастовка не отрезала нас от Петербурга. От сестры и от меня поклон и сердечный привет Вам и Надежде Григорьевне.

Очень преданный Вам Федор Тетерников».

Перечитывая это письмо, я слышу голос Сологуба и его интонацию. «Мистический анархизм» для меня теперь не более как воспоминание юности, и я сам, пожалуй, мог бы убедительно раскритиковать мою торопливо и неосторожно написанную книжку, но в сологубовском письме интересна не его остроумная попытка уличить Вяч. Иванова и меня в противоречиях, а самые приемы его своеобразной диалектики и стиль его невеселой философии.

Более всего Сологуба пугает всякая общественность и соборность… Мы, мистики-анархисты, уверяли тогда себя и других, что именно соборность, именно общественность, понимаемая как органическое единство, суть предельное утверждение личности. От этого я в известном смысле и теперь не отказываюсь. Не то Сологуб. Он как последовательный декадент не верил ни в какую общественность. Она всегда была для него лишь враждебная личности власть. И он не хотел допустить такой общественности, которая строится не по принципу насилия. Ему казалось, что такой общественности быть не может. В этой своей скептической философии он был по крайней мере логичен. Но противоречива душа поэта. И то, что было неприемлемо для его сознания, иногда не было чуждо его сердцу лирика. Так, в 1922 году вышла его книжка «Соборный благовест», где поэт собрал свои стихи разных годов – от 1889 до 1920. И в этой книжке мы видим, как время от времени в душе поэта возникают видения, внушающие ему невольно отказ от слепого индивидуализма и преклонение перед правдой «общего дела». Поэтическая искренность этих признаний очевидна для всякого, у кого есть чутье к лирике.

Мне хочется напомнить одно стихотворение Сологуба, написанное им за тринадцать лет до революции 1905 года и, значит, за двадцать пять лет до октябрьского переворота.

Зачем, скажи,
В полях, возделанных прилежно,
Среди колосьев ржи
Везде встречаем неизбежно

Ревнивые межи?

Одно и то же солнце греет
Тебя, суровая земля,
Один и тот же труд лелеет
Твои широкие поля.

Но злая зависть учредила
Во славу алчности и лжи
Неодолимые межи
Везде, где ты, земля, взрастила
Хотя единый колос ржи[28].

Флейта в руках Сологуба не превратилась в медный геликон[29], как это часто случается, когда стихотворцы начинают сочинять нечто согласно известному «заказу». Сологуб и в коммунистических своих чаяниях оставался поэтом.

Можно привести немало цитат, подтверждающих то, что этот крайний индивидуалист и декадент по временам не чужд был социальной стихии. В цикле «Соборный благовест» у Сологуба есть такая строка:

Охвачен трепетным смятеньем,
Забывший тесный мой шалаш,
Спешу к проснувшимся селеньям,
Твержу: – Товарищи, я ваш![30]

Когда это было написано? Это было написано до революции 1905 года. Сологуб вообще не склонен был, храня свою независимость поэта, угождать вкусам преходящего «сегодня». Но пафос настоящей революции он чувствовал как поэт. Вот еще одно его стихотворение 1905 года – «Земля»[31]:

В блаженном пламени восстанья
Моей тоски не утоля,
Спешу сказать мои желанья
Тебе, моя земля.

Производительница хлеба,
Разбей оковы древних меж
И нас, детей святого неба,
Простором вольности утешь.

Дыханьем бури беспощадной,
Пожаром ярым уничтожь
Заклятья собственности жадной,
Заветов хитрых злую ложь.

Если бы я сейчас писал не воспоминания о Федоре Сологубе, а критическую статью о поэте, я бы привел немалый список его стихотворений, свидетельствующих о том, что побежденная революция 1905 года продолжала вызывать в поэте сочувственные отклики и в годы реакции.

Весною 1914 года, накануне мировой войны, Сологуб был в Париже, и его тогдашние «Парижские песни» очень характерны для его презренья к буржуазному миру. Там, в Париже, он заметил не только блеск и богатство внешней культуры, но и нечто иное —

Сволочь пьяную всех наций
И грабителей всех стран…[32]

И нашу революцию после падения самодержавия он приветствовал достойно:

Самый ясный праздник года —
День, когда несет в народ свобода
Первомайский милый цвет.[33]

Но само собой разумеется, что все эти социальные мотивы не составляют главного и характерного для поэзии Сологуба. Конечно, он оставался поэтом одиноким, меланхоличным, острым, ироническим и замкнутым в себе – одним словом – декадентом. Однако совершенное поэтическое произведение, независимо от его психологической окраски, само по себе сокровище. И хочет или не хочет того поэт, но если он мастер настоящий и совершенный, то он тем самым полезен обществу, ибо, даже отрекаясь от общественности и будто бы ее отрицая, он все равно фатально ей служит. Так, например, и роман Сологуба «Мелкий бес», плод отравной и темной мечты поэта, в конечном итоге оказывается гигантским снарядом, метко брошенным в твердыню мещанской психологии. Идиотская маска Передонова пострашнее бесчисленных бытовых романов, где мнимые реалисты пыхтят и потеют, изображая «правдоподобно» действительность. От этих бытописаний через какие-нибудь

десятилетия не останется и следа, а фантастический Передонов никогда не умрет и всегда будет страшным предостережением человеку.

III

Та петербургская романтическая ирония, которой был болен Блок, была, конечно, не чужда и Сологубу. Этим недугом позднего романтизма мы все страдали. Поэты смеялись и шутили невесело над собою и над миром. И Сологуб шутил. Одной из тогдашних забав поэтов были каламбуры. Иногда они были многозначительны и загадочны, иногда вся соль их заключалась в их предельной дурашливости. Здесь уж смеялись над самим каламбуром.

Федор Кузьмич особенно изощрялся по этой части. Он даже шутя предлагал основать общество каламбуристов и приглашал в это общество в качестве членов-основателей – Блока, Эрберга[34] и меня.

Однажды утром Федор Кузьмич явился ко мне и пресерьезно объявил, что необходимо петербургским «каламбуристам» сняться вместе у знаменитого фотографа Здобнова. Мы вызвали Блока и Эрберга и отправились на Невский к фотографу. На карточке вышел удачно только Сологуб. Остальные вовсе непохожи на себя.

После фотографического обряда, покорствуя Сологубу, отправились мы в ресторан завтракать. За завтраком выяснилось, что мы все уже не склонны работать в этот день. Пришлось отправиться в другой ресторан обедать. На это пиршество мы пригласили дам, в том числе Анастасию Николаевну Чеботаревскую. Кажется, в тот же вечер определилась судьба ее и Федора Кузьмича. В ближайшие дни после этого пира Сологуб и Чеботаревская заключили свой брачный союз. Это было осенью 1908 года.

Теперь Сологуб жил не в скромной, тихой, серьезной и задумчивой своей квартире, где когда-то бесшумно ходила по комнатам его молчаливая сестра. Пришлось нанять большую квартиру, где была гостиная с пышною мебелью. Этот салон посещали теперь люди разнообразные. Прежде Сологуба навещали одни поэты, теперь шли в его квартиру все – антрепренеры, импрессарио, репортеры, кинематографщики… Изысканные художники встречались здесь с политическими деятелями, маленькие эстрадные актрисы с философами. Пестрота была забавная. Иногда Анастасия Николаевна устраивала маскарады, и было странно смотреть на Сологуба, который с невозмутимым и важным видом расхаживал среди гостей, имена коих не всегда были ему известны.

На одном из таких маскарадов разыгралась история с

«обезьяньим хвостом», подробности коей я забыл, но которая отчасти и меня затронула. Этот «обезьяний хвост» забавлял тогда петербургских литераторов несколько недель. На маскарад был приглашен, между прочим, один писатель, который по любви своей к чудачествам[35] объявил Анастасии Николаевне, что ему для его костюма необходима обезьянья шкура. Анастасия Николаевна с большим трудом достала у кого-то желанный предмет и дала его шутнику с предупреждением, что с ним надо обращаться бережно. Представьте себе ее ужас, когда любитель шуток явился на вечер в своем обычном пиджаке, из-под которого торчал обезьяний хвост. В этом заключался весь его маскарадный костюм. Но главное – был отрезан хвост от драгоценной шкуры. Это уже был скандал. Сам хитрец вышел сух из воды. Но вокруг «обезьяньего хвоста» разыгрались дамские страсти. Какую-то даму обвиняли в том, что писатель отрезал хвост по ее наущению. Полетели письма с взаимными оскорблениями. Мужья заступались за жен. Сологуб обиделся на одного небезызвестного и даровитого литератора[36], который впутался неосторожно в полемику по поводу хвоста. И вот однажды я получил от Федора Кузьмича письмо, в котором он требовал, чтобы я не принимал у себя в доме провинившегося писателя[37]. Как я ни любил Федора Кузьмича, но решительно отказался принять такой ультиматум. И Федор Кузьмич дулся на меня некоторое время. Потом как-то забылась эта обезьянья история. По поводу нее же случился анекдот с Блоком. Однажды он читал у меня стихи. В это же время был у меня Сологуб и Анастасия Николаевна. Блок, в черном сюртуке, стройный и строгий, читал стихи со своей обычной бесстрастной, но несколько торжественной и внушительной интонацией. Вдруг на одной из строф, где поэт сравнивает свою таинственную очаровательницу с кометой, Блок остановился, покраснел и по-детски фыркнул.

– Не могу дальше, – пробормотал он, – дальше у меня о хвосте…[38]

Да, взрослые поэты иногда шутили, ссорились, забавлялись и огорчались по поводам смешным и ничтожным, как дети, – иногда и грешили, и даже тяжко…

> Так жили поэты. Читатель и друг,
> Ты думаешь, может быть, – хуже
> Твоих ежедневных бессильных потуг.
> Твоей обывательской лужи?[39]

Эту строфу из стихотворения Блока можно было бы, пожалуй, взять эпиграфом к моим воспоминаниям.

В то время как внешняя жизнь Сологуба и его жены слагалась так, на первый взгляд, безмятежно и весело, ибо «обезьяньи хвосты» нельзя же считать серьезными жизненными неудачами, – за кулисами этой пестрой жизни таилось нечто страшное. Федор Кузьмич, наблюдая внимательно за несколько приподнятым настроением Анастасии Николаевны и за ее слишком страстным отношением к мелочам жизни, мог заметить какую-то странную неуравновешенность в характере своей жены. Революционная катастрофа окончательно подорвала душевные силы Анастасии Николаевны, и незаметная для посторонних ее душевная болезнь стала очевидною для самого Сологуба. Подобно тому, как раньше он проводил томительные вечера вдвоем с своей умирающей в чахотке сестрой, так теперь он следил за мучительными душевными припадками своей жизненной спутницы, которые влекли ее фатально к мрачному концу.

В середине сентября 1921 года болезнь Анастасии Николаевны обострилась. 23 сентября, воспользовавшись недосмотром служанки и тем, что Федор Кузьмич вышел в аптеку за бромом, Анастасия Николаевна убежала из дому и бросилась с дамбы Тучкова моста в реку Ждановку. Тело ее осенью не было найдено. Весною Федор Кузьмич, как всегда, грустный и задумчивый, зашел к одной моей знакомой и очень удивил ее, сказав, что хотел бы получить кольцо, которое носила покойница. Второго мая 1922 года одна из последних льдин вынесла тело Анастасии Николаевны на берег Петровского острова. Федору Кузьмину довелось проститься со своей умершей подругой, и он надел на палец желанное ему кольцо.

……

Я мог бы сказать кое-что о внутренней загадочной жизни Сологуба, о том, что именуется условно «демонизмом» поэта, но, кажется, такие размышления несвоевременны. Я хочу только напомнить одно стихотворение Сологуба, где он сам подводит итоги своей жизни и своему груду. Надо прислушаться к этому признанию поэта. Это стихотворение «Я испытал превратности судеб…»[40] вошло в книжку «Фимиамы», которую Сологубу удалось напечатать в Петербурге в 1921 году. Это стихотворение что-то вроде нерукотворного «Памятника». Лирик ставит сам себя перед высшим судом – не потомства, а вечности. Шутливый тон стихотворения не исключает его внутренней значительности. Поэт заставляет апостола Петра[41] беседовать с собою у входа в Парадиз.

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:

«Что сделал ты?» – меня он вниз
Железным посохом не сбросит.

Скажу: «Слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.

Но я – поэт», – И улыбнется он
И разорвет грехов рукописанье.
И смело в рай войду, прощен.
Внимать святое ликованье.

notes

Примечания

1

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) – поэт-сатирик, фельетонист, критик.

2

В статье «Светлеют дали» («Весы» 1904. № 4) Чулков провозглашал: «Мы… накануне великих откровений… Мы делаемся причастными величайшему прозрению, отвергая те пути познания, которыми следовало заблудившееся человечество».

3

Портрет (1902) Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927) воспроизведен в сборнике стихов Ф. Сологуба «Пламенный круг» (1908).

4

Тетерникова Ольга Кузминична (1865–1907) зарабатывала на жизнь шитьем. Окончив повивальный институт, получила диплом повивальной бабки. Умерла от туберкулеза.

5

Такое название получили беседы, которые вел на философские, политические и религиозные темы со своими учениками Платон Афинский (428 или 427–348 или 347 гг. до н. э.).

6

Ареопаг (г р е ч.) – высший орган судебной и политической власти в древних Афинах, зд. – собрание авторитетных лиц для решения каких-либо вопросов.

7

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) – поэт, прозаик, критик, композитор. Написал рецензию на вторую книгу рассказов Чулкова (Аполлон. 1910. № 6).

8

Пьеса «Дар мудрых пчел» читалась на одной из «суббот» в театре В.Ф. Комиссаржевской.

9

Великий четверг – день страстной недели, когда Римская церковь примирялась со всеми кающимися грешниками и изрекала анафему на всех упорствующих, день когда служится литургия Василия Великого. В Евангелии этому дню соответствует Тайная Вечеря и Моление о чаше.

10

Ср.: «… и на ложе, приготовленном будто для Венеры или царицы Клеопатры, полулежал седой человек… // – Зачем вы устроили ему такое поэтическое ложе? // – Я же не знал, какого он вида и возраста… Повернув свое бледное с лоснящимся, как у покойника, лбом лицо на минуту к шепчущимся, перевернув шумно и неспешно страницу, сидящий на ложе снова начал…» (К у з м и н М. Картонный домик // Белые ночи. СПб., 1907. С. 123–124).

11

«Куранты любви» – стихи М. Кузмина, положенные им на музыку. Впервые опубликованы в «Весах» (1909. № 12).

12

Чулкова Надежда Григорьевна (урожд. Петрова, в первом браке Степанова; 1875–1961) – жена Г. Чулкова, переводчик.

13

«Мелкий бес» – один из символов художественного мира Ф. Сологуба. Так назван его самый знаменитый роман (отдельной книгой опубликован в 1907 г.).

14

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1875–1922) – прозаик, критик, переводчица. Составила сб. «О Федоре Сологубе. Критика, статьи и заметки» (СПб., 1911), в который были включены главным образом хвалебные отзывы о писателе.

15

В «Вопросах жизни» были опубликованы только шесть (18–23) глав романа (1905. № 6-11).

16

Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту» (1830).

17

С любовью (*ит.*).

В 1913–1914 гг. было выпущено 20 томов.

19

Речь идет о стихотворении Чулкова «Песня» («Стоит шест с гагарой…»).

20

Стихотворение опубликовано в собрании сочинений Ф. Сологуба (СПб., 1913–1914. Т. XVII. С. 215); датировано 29 декабря 1913 г.

21

Имеется в виду сборник «Стихотворения Георгия Чулкова»

«Перевал». 1906. № 1.

23

Здесь Ф. Сологуб отсылает адресата к своей статье «Истинно русские люди» (Новости и Биржевая газета. 1905. 17 января. № 10. С. 2). Ср.: «Существует в России не очень многочисленная, но довольно шумливая и самоуверенная группа людей, которая отличается тем, что настойчиво уверяет всех и каждого: // – Мы – истинно русские люди. Наш образ мыслей – и только наш – основан на исконно русских началах. Только не русские люди могут думать не согласно с нами. Всех не согласно с нами мыслящих следует презирать и ненавидеть, так как они – враги. Внутренние враги. И они заодно с внешними врагами. Только еще опаснее».

24

Монада – понятие, используемое в ряде философских систем для обозначения основополагающих, конструктивных элементов бытия. У Г.В. Лейбница (1646–1716) – психическая активная субстанция.

25

Говеть – поститься, посещать церковные службы, приготовляясь к исповеди и причастию.

26

Нарцисс – в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, наказанный Афродитой за то, что отверг любовь нимфы Эхо: влюбившись в собственное отражение в воде, он умер и был превращен в цветок, названный его именем.

27

Книги с таким названием у Чулкова нет, но она была анонсирована в брошюре «О мистическом анархизме».

28

Стихотворение помечено 29 ноября 1892 – 27 января 1900 г. (С о л о г у б Ф. Стихотворения. Л., 1975. С. 240).

29

Геликон – музыкальный инструмент, разновидность басовой и контрабасовой трубы, сконструированной в России в первой половине XIX в.

30

«Давно в степи блуждая дикой…»(1904) (Сологуб Ф. Стихотворения. С. 302).

31

Правильно: «Земле». Чулков приводит неточно седьмую строку: у Сологуба – «детей святого Феба» (Сологуб Ф. Стихотворения. С. 322).

32

Строки из стихотворения «Раб французский иль германский…» (1914) (Сологуб Ф. Стихотворения. С. 391).

С о л о г у б Ф. Соборный благовест. Пб., 1922. С. 34.

34

Эрберг (наст. фам. Сюннерберг) Константин Александрович (1871–1942) – теоретик искусства, критик, поэт. У Чулкова есть развернутая рецензия на его книгу «Цель творчества. Опыты по теории творчества и эстетике» (М., 1913), в которой он проводит мысль, что автор оригинально освещает старые идеи безусловной свободы творчества, характеризуя художника как раба, возжелавшего свободы (Пустое небо // Аполлон. 1913. № 10). «Воспоминания» Эрберга опубликованы С.С. Гречишкиным и А.В. Лавровым в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год» (Л., 1979).

35

Речь идет о писателе А.М. Ремизове (1877–1957), который был организатором «Обезьяньей Великой и Вольной палаты» («Обезвелволпал») и ее бессменным «канцеляриусом», с чем и были связаны его многочисленные мистификации.

Имеется в виду А.Н. Толстой.

Переписка по этому поводу сохранилась в архиве Чулкова в ОР РГБ. В письме от 6 февраля 1911 г. Сологуб писал: // «Дорогой Георгий Иванович, // Я с большим огорчением узнал, что Вы продолжаете поддерживать отношения с гр<афом> Алексеем Ник<олаевичем> Толстым. Образ действий графа Ал<ексея> Ник<олаевича> Толстого вынуждает меня не посещать тех домов, где он принят. // Преданный Вам Федор Тетерников» // (Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 76. Л. 34).

38

Возможно, подразумевается стихотворение «И я провел безумный год…» (1907), в котором есть строка «И вьется шлейф, как хвост кометы…»

39

А. Блок. «Поэты» (1908).

40

Стихотворение датировано 8 апреля 1919 г.

41

Апостол Петр – один из двенадцати апостолов, учеников Христа, о которых говорится в Евангелии. После вознесения Христа проповедовал в Антиохии, Малой Азии и в Коринфе, оставил Послание, вошедшее в книгу Нового завета. По приказанию императора Нерона был заключен в темницу, где принял мученическую смерть.